

A decorative border surrounds the central text and image. It features stylized autumn leaves in shades of orange, red, and yellow, interspersed with green berries or small leaves. The border is symmetrical and frames the central content.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ



**рассказы и стихи
русских классиков**

Теплое чтение

Александр Пушкин

**Золотая осень. Рассказы
и стихи русских классиков**

«ЭКСМО»

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)я43

Пушкин А. С.

Золотая осень. Рассказы и стихи русских классиков /
А. С. Пушкин — «Эксмо», — (Теплое чтение)

ISBN 978-5-04-251611-5

«Дни поздней осени бранят обыкновенно, / Но мне она мила, читатель дорогой», — вслед за Пушкиным поблагодарим осень за красоту и прохладу дней. Когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче, когда начался учебный год, когда на столе цветаевский пирог с яблоками и ее бессмертная поэзия в обложке с печным изразцом: «Красною нитью рябина зажглась, падали листья, я родилась». Станционный смотритель упустит свою любимую дочь, Попрыгунья не углядит знаменитость в своем доме, а банкир заключит огромное пари в два миллиона — осень станет высокомерным свидетелем, разрешением многочисленных судеб в очередной раз.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)я43

ISBN 978-5-04-251611-5

© Пушкин А. С.
© Эксмо

Содержание

Александр Пушкин	6
Осень	6
Станционный смотритель	10
Николай Некрасов	16
Железная дорога	16
Иван Тургенев	20
«Осенний вечер... Небо ясно...»	20
Осень	21
Лес и степь	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Коллектив авторов
Золотая осень: рассказы
и стихи русских классиков

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2026

Александр Пушкин

Осень

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Державин

I

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъездные поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

V

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могилой пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн – таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривой, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит – то яркий свет лиет,
То тлеет медленно – а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.

X

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

XI

И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

ХП

Плывет. Куда ж нам плыть?..

.....
.....

Станционный смотритель

*Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.*

Князь Вяземский

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подъячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут – а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут – колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто брал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин*

чина почитай, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! – закричал смотритель, – поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» – спросил я смотрителя. «Дочка-с, – отвечал он с видом довольного самолюбия, – да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шляфорке отпускает бесполойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шляфорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доньше сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сениях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину – и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? – спросил я его, – мы с тобою старые знакомые». – «Может статься, – отвечал он угрюмо, – здесь

дорога большая; много проезжих у меня перебивало». – «Здорова ли твоя Дуня?» – продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», – отвечал он. «Так, видно, она замужем?» – сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал шепотом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? – начал он. – Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по полчаса заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. – Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпугав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С *** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обеду. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? – сказал ей отец, – ведь

его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкой; его свезли в С *** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностью, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправаясь от болезни, смотритель выпросил у С *** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, рассказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, – думал смотритель, – приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидаться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» – спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! – продолжал старик, – что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». – «Что сделано, того не воротишь, – сказал молодой человек в крайнем замешательстве, – виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она – вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти-и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к

извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть еще раз увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял – да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? – спросил он, – не Минского ли?» – «Точно так, – отвечал кучер, – а что тебе?» – «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». – «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». – «Нужды нет, – возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, – спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» – спросил он. «Здесь, – отвечала молодая служанка, – зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! – закричала вслед ему служанка, – у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» – спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? – сказал он ему, стиснув зубы, – что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» – и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступить. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, – заключил он, – как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу, вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» – никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате

солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» – спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», – отвечала она. «А где его похоронили?» – «За околицей, подле покойной хозяйки его». – «Нельзя ли довести меня до его могилы?» – «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителю могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

– Знал ты покойника? – спросил я его дорогой.

– Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» – а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится.

– А проезжие вспоминают ли его?

– Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

– Какая барыня? – спросил я с любопытством.

– Прекрасная барыня, – отвечал мальчишка, – ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром – такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

– Вот могила старого смотрителя, – сказал мне мальчик, вспрыгнув на грудку песка, в которую врыт был черный крест с медным образом.

– И барыня приходила сюда? – спросил я.

– Приходила, – отвечал Ванька, – я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром – славная барыня!

И я дал мальчишке пятак и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

Николай Некрасов

Железная дорога

Ваня (в кучерском армячке):

«Папаша! кто строил эту дорогу?»

Папаша (в пальто на красной подкладке):

«Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!»

Разговор в вагоне

1

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —
Все хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю.
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою.

2

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
Труд этот, Ваня, был страшно громаден,
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод название ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами

Каменотесцев, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные.
Многие – в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Чу! восклицанья слышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные.
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!
Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда.
Всё претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!
Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено.
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..»
Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это всё братья твои – мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядишься к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять.
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную.
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придется – ни мне, ни тебе.

3

В эту минуту свисток оглушительный
Взвизгнул – исчезла толпа мертвецов!
«Видел, папаша, я сон удивительный, —
Ваня сказал, – тысяч пять мужиков,
Русских племен и пород представители
Вдруг появились – и он мне сказал:
„Вот они – нашей дороги строители!..“»
Захохотал генерал!
«Был я недавно в стенах Ватикана,
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана,
Что же... все это народ сотворил?
Вы извините мне смех этот дерзкий,
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?
Вот ваш народ – эти термы и бани,
Чудо искусства – он все растаскал!» —
«Я говорю не для вас, а для Вани.»
Но генерал возражать не давал:
«Ваш славянин, англо-сакс и германец
Не создавать – разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;
Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону.»

4

Рад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены – немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ
Тесной гурьбой у конторы собрался.
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!
Всё заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной:
«Может, и есть тут теперича лишку,
Да вот, поди ты!..» Махнули рукой.
В синем кафтане – почтенный лабазник,
Толстый, присадистый, красный, как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.
Праздный народ расступается чинно.
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченьясь картинно:
«Ладно... нешто... молодца!.. молодца!..
С богом, теперь по домам – проздравляю!
(Шапки долой – коли я говорю!)
Бочку рабочим винаставляю
И – недоимку дарю!..»
Кто-то «ура» закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее. Глядь:
С песней десятники бочку катили.
Тут и ленивый не мог устоять!
Выпряг народ лошадей – и купчину
С криком «ура!» по дороге помчал.
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..

1864 г.

Иван Тургенев

«Осенний вечер... Небо ясно...»

Осенний вечер... Небо ясно,
А роща вся обнажена —
Ищу глазами я напрасно:
Нигде забытого листа
Нет – по песку аллей широких
Все улеглись – и тихо спят,
Как в сердце грустном дней далеких
Безмолвно спит печальный ряд.

Брожу над озером... туманны
Вершины круглые холмов,
Темнеет лес, и звучно-странны
Ночные клики рыбаков.

Полна прозрачной, ровной тенью
Небес немая глубина...
И дышит холодом и ленью
Полузаснувшая волна.

Настала ночь; за ярким, знойным,
О сердце! за тревожным днем, —
Когда же ты заснешь спокойным,
Пожалуй, хоть последним сном.

Осень

Как грустный взгляд, люблю я осень.
В туманный, тихий день хожу
Я часто в лес и там сижу —
На небо белое гляжу
Да на верхушки темных сосен.
Люблю, кусая кислый лист,
С улыбкой развалясь ленивой,
Мечтой заняться прихотливой
Да слушать дятлов тонкий свист.
Трава завяла вся... холодный,
Спокойный блеск разлит по ней.
И грусти тихой и свободной
Я предаюсь душою всей.
Чего не вспомню я? Какие
Меня мечты не посетят?
А сосны гнутся, как живые,
И так задумчиво шумят.
И, словно стадо птиц огромных,
Внезапно ветер налетит
И в сучьях спутанных и темных
Нетерпеливо прошумит.

Лес и степь

*...И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет над тучной нивой,
Где пахнет конопелью да крапивой...
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожься, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами.
И падает тяжелый желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там хорошо*

(Из поэмы, преданной сожжению.)

Читателю, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте. Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, *fur sich*, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте. Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете – едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлет. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснее небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул – и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепет, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синяя сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком выются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!.. А летнее, июльское утро! Кто,

кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст – вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»; вдаль стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кое-где разве вдаль желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли – звучный лязг косы раздастся за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух. – Где бы, брат, тут напиться? – спрашиваете вы у косаря. – А вон, в овраге, колодезь. Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевелиться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай... скорее!.. Вы добежали, вошли... Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!.. Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдаль ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синее небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглой. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснее... Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин... А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес гложет... Незыблемая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурю листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед... И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний

запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображение реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь разворачивается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает – ни солнца нет, ни ветра, ни шуму... А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, – когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней... Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом! Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева – оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите – лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас – всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнется – клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу – и вот опять все заволокло. Долго продолжается эта борьба; по как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине... Но вот вы собрались в отъездное поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам – вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоянных дворов с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы – какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханые и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы все мельче и мельче, деревья почти не видать. Вот она наконец – безграничная, необозримая степь! А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым

цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потоки... Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.